

ИЗ БЕСЕД ТОЛСТОГО С ПОЛЕМ ДЕРУЛЕДОМ

НЕИЗВЕСТНЫЕ ЗАПИСИ Е. Ф. ЮНГЕ

Сообщение Л. Р. Ланского

Французский реакционный политический деятель, создатель и почетный президент шовинистической «Лиги патриотов», автор напумевших в свое время воинственных «Песен солдата», Поль Дерулед (1846—1914) был одним из главных вдохновителей и пропагандистов франко-русского союза, направленного против Германии. Летом 1886 г. он приехал в Россию для переговоров с виднейшими представителями правящих кругов, стараясь убедить их в необходимости политической и военной коалиции.

Имя Толстого начинало в это время пользоваться широкой известностью во Франции и других зарубежных странах, и Дерулед заехал в Ясную Поляну, чтобы заручиться поддержкой влиятельного писателя.

Воинственные доводы автора «Песен солдата», разумеется, не встретили сочувствия в Толстом. Миссия агитатора завершилась полным фиаско, хотя он не мог пожаловаться на оказанный ему прием.

«Никто в этом доме не сходитя со мною во взглядах, однако мне здесь нравится, очень нравится»,— говорил он С. А. Толстой¹.

17 июля 1886 г. Толстой писал В. Г. Черткову:

«Вчера у меня провел день французский писатель Déroulède и очень меня заинтересовал. Представьте себе, что это человек, посвятивший свою жизнь возбуждению французов к войне, *revanche* против немцев. Он глава воинственной Лиги и только бредит о войне. И я его полюбил. И мне он кажется близким по душе человеком, к〈оторый〉 не виноват в том, что он жил и живет среди людей-язычников» (т. 85, стр. 376).

С. А. Толстая в тот же день сообщала своей дочери Тане:

«Вчера после обеда я надела халат и перетащилась насилу в гостиную; хотелось мне очень француза посмотреть и поговорить о моем переводе. Француз оказался очень мил, умен, образован и начитан. Мне жаль, что я мало с ним виделась...» (АТ)

По-видимому, Дерулед не имел сколько-нибудь верного представления о взглядах своего собеседника, в частности о его отношении к войне. Художественное же творчество автора «Анны Карениной» он ценил высоко и предрекал, что Толстой будет оказывать сильное влияние на французскую литературу.

Визит французского гостя надолго остался в памяти обитателей Ясной Поляны².

Уезжая, Дерулед оставил Толстому свою драму «La Moabite» («Моавитянка», 1882) с дарственной надписью: «Мыслителю, Философу, Романисту, Великому Русскому Писателю Льву Толстому с глубоким и почтительным восхищением. Поль Дерулед. Тула. Июль

1886 г.»*. Книга эта осталась в яснополянской библиотеке почти неразрезанной.

В статье «Христианство и патриотизм», написанной семь лет спустя, в 1893 г., Толстой рассказал о посещении Деруледа, пытавшегося убедить его в жизненной важности реакционного франко-русского союза — «для восстановления прежних границ Франции и ее могущества и славы» и для «обеспечения» России «от зловредных замыслов Германии» (т. 39, стр. 49).

В окончательном тексте статьи «Христианство и патриотизм», в которой описывается визит Деруледа, мы его фамилии не найдем. Толстой вычеркнул ее в черновой рукописи, заменив словами «один известный французский агитатор» и «наш гость». Статья вскоре появилась в Париже на французском языке. Дерулед не мог не узнать себя в самодовольной фигуре «сияющего свежестью, элегантностью, хорошо упитанного француза», живого олицетворения процветающего буржуа. Мало лестный для его самолюбия эпизод он решил предать полному забвению и, насколько нам известно, нигде не упомянул о своем визите в Ясную Поляну. Между тем беседа Толстого с Деруледом не ограничивалась одними политическими темами. Значительное место в них занимали чисто литературные вопросы. Об этом свидетельствуют обнаруженные нами в Отделе письменных источников Государственного Исторического музея (Москва) записи художницы и мемуаристки Е. Ф. Юнге, троюродной сестры Толстого, дочери бывшего вице-президента Академии художеств Ф. П. Толстого, приехавшей в Ясную Поляну вместе с Деруледом и пытавшейся зафиксировать ход их беседы. Записи ее датированы 16 июля 1886 г., т. е. днем посещения Деруледом Ясной Поляны. Приводим высказывания Толстого (и частично Деруледа) в той последовательности, в какой они находятся на четырех вырванных из тетради страницах:

* * *

«Бог — закон природы; разум — совесть».

* * *

«Понятие об родине, государстве, собственности есть метафизика, — а то, что я говорю, — это математика».

* * *

«Борьба за существование есть не закон природы, а тот материал, над кот<орым> должна работать цивилизация. Чем больше цивилизации, тем менее проявляется борьба за существование, истинная цивилизация должна уничтожить ее».

* * *

«Эльзас и Лотарингия теперь именно ваши своею любовью к вам, своим духовным сопротивлением немцам; не все ли равно, какое над ними насилие, какая власть»**.

* * *

«Самоотвержение, желание жертвы так сильно в человеке, что он со-
здал себе теории, чтоб только жертвовать собой идее».

* Приводим эту надпись в подлиннике: «Au Penseur, au Philosophe, au Roman-
cier, au Grand Ecrivain Russe Léon Tolstoï hommage d'une profonde et respectueuse
admiration. Paul D é r o u l è d e. Toula. Juillet 1886».

** «Взгляды Толстого эгоистичны, — отмечает здесь же Юнге, — чтоб своя со-
весть была спокойна, чтобы самому можно было жить — рассказ об ребенке, кот<орого>
кто-нибудь бьет; не имеем права помочь ему насилием же». — Л. Л.

L'ILLUSTRATION

Prix de ce Numéro : 1 franc

SAMEDI 15 FÉVRIER 1902

107 Année — N° 367



LE COMTE LÉON TOLSTOI

ТОЛСТОЙ

Гравюра французского художника Анри Тириа по фотографии 1892 г.

«Illustration» от 15 февраля 1902 г.

* * *

«Когда один человек слушает и ничего не понимает, а другой говорит и сам уже не понимает, что он говорит, — это метафизика».

* * *

«Немцы победили так же, как потеряли от войны: они стали самодовольны, нахальны»*.

* * *

«Впечатление войны в России: все преклонялись перед немцами, немецкой литературой, наукой, философией — после войны это как рукой сняло, разом как отрезало».

* * *

Рассказ Л. Н. о песне «Как 8 сентября нас нелегкая несла»:

«Этой песне я много обязан: если бы не она, моя вся жизнь пошла бы иначе. Меня хотели послать адъютантом к государю, но между тем вышло как-то наружу, что это я написал, ну и неловко было назначить».

Об бомбе, найденной впоследствии в Севастополе, калибер кот<орой> только был у него одного в маленькой батарее, кот<орой> он командовал.

* * *

Когда он поступил в университет и пошел к портному заказывать мундир, то офицер у портного разговорился с ним и спросил, на какую службу он пойдет, военную или статскую, то он отвечал: «Разве порядочный человек может поступить иначе как в военную?»

* * *

«Прямое логическое рассуждение: если я употребляю насилие, то может случиться, что и со мною его употребят».

Не может человек жить, когда он видит, что другие умирают с голоду; как же сделать, чтобы можно было жить, этот вопрос должен иметь и имеет ответ. Л. Н. получает столько просьб о помощи, что если б он удовлетворял их, то ему нужно было бы три тысячи рублей в день, и со всем состоянием Ротшильдов ничего не поделаешь. Чтобы успокоить свою совесть и быть в состоянии жить, надо поставить себя в условия жизни массы, т. е. зарабатывать свой хлеб, как она.

* * *

«La langue française se perd!»** Octave Feuillet хорошо пишет, «La Morte» — хорошо; но есть еще дань современному реализму. Cherbuliez не нравится Толстому, аффектация. Увлекался Стендалем.

* * *

«Иерархия писателей одной группы: Тургенев — папа, Mérimée — диакон. About — хороший; французы сами не знают, что в них лучшее — французская веселость, легкость: остроумие, esprit français***. Alex. Dumas, Verne».

* * *

«Dumas-fils очень хорош, он определенен, ясен, замечательно доводит свою мысль до конца, логичен, il pousse son idée jusqu'au bout****».

* Имеется в виду (здесь и ниже) франко-прусская война 1870—1871 гг.— Л. Л.

** «Французский язык портится!» (франц.).

*** французское остроумие (франц.).

**** он доводит свою мысль до логического завершения (франц.).

Zola есть талант, но груб, и видно, что совершенно необразованный человек. *Bossuet* слишком теолог, слишком устарел. *Montesquieu, Pascal...** превосходный, чудный язык».

* * *

Дерулед об *Zola*: «Судит о своих произведениях по числу изданий, был очень удивлен, когда вещи *Ohnet* имели до двухсот изданий».

* * *

Мнение Д<еруледа>, что Толстой будет очень влиять на фр<анцузскую> литературу, что лет через пять мы это увидим.

* * *

Т<олстой>: «*Daudet* подражает английским романам. Надо свое внести, чтобы быть великим художником». Случай с Ренаном. Дерулед говорит об его последнем произведении, восторгаясь им. Ренан в рассеянности отвечает: «O, superbe, tout ce qu'il y a de plus beau!»** Сам говорит, что никогда не слушает, что ему говорят.

* * *

Т<олстой> Ренана и Тэна ставит в одну категорию несимпатичных ему писателей, ко всему равнодушных: немцы выдумали это глупое выражение «объективность», и эти писатели из кожи лезут, чтоб быть объективными».

На этих же листках Юнге сделала следующие заметки:

«В Т<олстом> что-то добродушное, приветливое, веселое, ласковое доброе, напомнило мне отца, — такая же ласковая улыбка» и «Толстой вообще сделал на меня более добродушное и спокойное впечатление, чем прошлый раз» (*ГИМ*, ф. 344, ед. хр. 50, лл. 23—26 об.).

Четверть века спустя, уже после смерти Толстого, Е. Ф. Юнге писала его вдове (1 октября 1911 г.):

«Дерулед был у Льва Николаевича, по моим точным соображениям, в 1886 году. Пусть только Бирюков не повторяет глупостей, которые писались в газетах по этому поводу, будто Лев Николаевич сердился, хлопал дверями и пр. Я все время была с ними, и ничего подобного не было; они спорили горячо, но дружественно, и часто прения прерывались шутками, например:

Л. Н. Я не понимаю, как люди могли дойти до мысли, что земля может быть чьей-нибудь собственностью.

Д е р у л е д. Ну, знаете, эта теория растяжима. Таким образом можно сказать, что и мой сюртук — не моя собственность.

Л. Н. Конечно, и не только сюртук, но ваши руки, ваша голова — не ваша собственность.

Д е р у л е д. Ah, mais non! Ah, mais non!*** Я не хочу оставаться без головы, я буду защищаться.

Л. Н. (*смеясь*). Ну, если это вам неприятно, я скажу, что мои руки, моя голова мне не принадлежат...

Д е р у л е д. Вот если б мне да вашу голову! Хотя на один месяц бы!

Л. Н. хохочет.

Перед отъездом, в отсутствие Деруледа, Лев Николаевич сказал мне:

* Пропуск одного слова в рукописи. — Л. Л.

** «O, великолепно, что может быть прекрасней!» (франц.).

*** Ну нет уж! нет! (франц.).

— Ведь я вполне этого человека понимаю: я сам когда-то точно так же думал. Но теперь я выше этого.

А когда мы выехали, Дерулед сказал мне:

— Ведь я вполне этого человека понимаю, я благоговею перед ним, но сам я не могу отрешиться от того, что было крепче моей жизни. *Я не могу поднаться на его высоту*» (АТ).

Таков этот малоизвестный и не лишенный интереса эпизод из биографии Толстого³.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ См. об этом в кн. 2-й настоящ. тома (воспоминания Т. Бензон).

² О посещении Деруледом Толстого упоминает в своих воспоминаниях и сын писателя — Лев Львович (Л. Л. Толстой. Правда о моем отце. Л., 1924, стр. 82—85).

Анна Сейрон, воспитательница детей Толстого, впоследствии вспоминала о пребывании Деруледа в Ясной Поляне (ошибочно указав, что он провел там три дня): «Никто не мог угадать, что это за человек высокого роста, в сером, доверху застегнутом сюртуке, с военной осанкой, которого привезла с собою в Ясную Поляну одна из родственниц графа.

Дерулед! Звук этого имени был чужим для нас, так как газеты читались редко...» Благодаря своей ловкости в разговоре и свободе обращения, он скорее других освоился с новой обстановкой. Но война, реванш, собрание подписей за и против того или другого, все это были предметы, не представлявшие ни малейшего интереса в глазах графа. С другой стороны, одного движения в углах губ графа и одного взгляда его стальных глаз было довольно, чтоб побудить Деруледа придать совершенно иной характер цели своего посещения, а именно в смысле желания, разумеется, „познакомиться с литературным светилом России“.

Эта почва сделала возможным для Деруледа пребывание в Ясной Поляне в течение трех дней. И этого, без сомнения, было довольно ему, чтобы соскучиться. Но графа можно было видеть только в определенные часы, и Дерулед, вероятно, все-таки надеялся воспользоваться одним из них и повести если не прямо, то косвенно разговор на тему о реванше. Были минуты, когда, казалось, он был близок к цели, но едва только в речи появлялись отзвуки боевой трубы, граф становился холоден, как мрамор. Один только раз он, в свою очередь, коснулся в разговоре темы о войне и ее невыразимых бедствиях. Он видел своими глазами все это — ночное кровавое небо, опустившееся над полем битвы, и когда Дерулед вслед за тем снова заговорил о том, что „Рейн должен принадлежать французам“, граф улыбнулся добродушно и сказал: „Границы между государствами должны определяться не пролитой кровью, а разумным соглашением народов, причем должна быть оказана справедливость каждому и взвешены все права и выгоды той и другой стороны“. На замечание гостя, что война есть явление, свойственное природе, граф ответил, что, тем не менее, ее должно и можно избежать, и если наступят опять дни, когда брат встанет на брата и будут убивать друг друга, — пусть это будет сила рокового сцепления вещей. Но, главное, никто не должен ни вызывать, ни требовать войны. С этими словами граф встал и быстро вышел из залы». (Цит. по русскому переводу: «Шесть лет в доме графа Льва Николаевича Толстого. Записки г-жи Анны Сейрон». СПб., 1895, стр. 59—61). В своих заметках Е. Ф. Юнге приводит некоторые рассказы Деруледа о зверствах пруссаков во время франко-прусской войны.

³ Среди бумаг Е. Ф. Юнге сохранилась авторская копия ее письма от 16 февраля 1903 г. к одной из приятельниц или родственниц. В письме этом она рассказывает о своей недавней поездке с сыном Александром в Ясную Поляну. Отметим, что Юнге передала Толстому ряд материалов для «Хаджи-Мурата» (в том числе свои собственноручные заметки о личности Николая I). «Дорогая Наташа, — писала Юнге. — Если б я только могла тебе передать всю силу моих впечатлений!.. Но начну с рассказа: Саше загорелось ехать к Толстым. Никакие рассуждения о том, что нехорошо ехать, не предупредивши, что двадцать градусов морозу, что мы приедем в Тулу к вечеру, ничего не помогло, на все он находил ответы, и я, все время чувствуя, что делаю что-то невозможное и несуразное, покорилась и поехала. Это было в прошлую среду. Приехали в Тулу в пять часов. Экипажей, кроме простых одноконых ванек, нету. Извозчики кидаются на нас, как вороны, орут, давят друг друга и нас; мы обращаемся к городовому, он усаживает нас на извозчика, который говорит, что отлично знает дорогу и доведет нас засветло. Едем. Дорога оказывается отвратительная, гололедица, так что едем почти шагом, каждую минуту останавливаемся, потому что в упряжи все что-то рвется. Делается темно; после долгого времени извозчик съезжает с шоссе, теряет дорогу и везет нас по разным кочкам, ямам, канавам неизвестно куда. Я кричу, вылезай из саней, иду пешком, ввязу по пояс в снеге, задыхаюсь; извозчик поворачивает лошадь то в одну сторону, то в другую, то взад, то вперед. Наконец, делается невоз-

можно двинуться. Я советую отпречь лошадь и поехать верхом поискать жилья, извозчик говорит, что он знает, что „помилуйте“ и пр., что он пешком пойдет искать дороги. Отправляется и исчезает. Мы стоим в открытом поле, в темную уже ночь, при двадцати градусах морозу и вьюге. У меня валенки, две шубы, Саша в низеньких калошах, без башлыка и без перчаток. Так как ему приходилось держать вожжи и поддерживать сани, то у него прежде всего замерзают руки, а потом уже ноги; мы трем руки снегом, он топчетя ногами, время тянется бесконечно, мужик пропал. Мы соображаем, что мы, может быть, в десяти-двенадцати верстах от жилья, что мужика могла занести вьюга или что он может не найти нас. Саша говорит, что он не может владеть руками, что они страшно болят, что то же делается с ногами. „Смерть наша пришла, — говорю я, — или мы здесь замерзнем, или все равно простудимся насмерть“. Саша старается подбодрить меня, но это выходит слабо. Время тянется, и нам все становится хуже. „Не покричать ли?“ — говорит Саша и издает громкий, протяжный крик, на который вдали кто-то отзывается. Через несколько времени является мужик с яснополянским сторожем, оба мужика вытаскивают нас на дорогу, и мы оказываемся совсем недалеко, может быть в версте от дома. У Толстых производим всеобщий переполох, нас бранят, что мы не телеграфировали, и всячески отогревают; сашины руки и ноги отходят, но ухо оказывается отмороженным. Софьи Андреевны, оказывается, нет дома, она поехала как раз в Москву, чтоб взять меня в свой директорский вагон и привезти со всякими предосторожностями в Ясную. Находятся там два сына Льва Николаевича и две дочери: Оболенская с мужем и младшая Саша и еще всякий народ. После всех этих страхов, упреков, сожалений, начинается упоение. Лев Николаевич очень слаб, постоянно лихорадит, но голова его яснее, чем когда-нибудь, память изумительная, радушие и внимание обыкновенные. Работает он очень много: когда устает писать, диктует, но больше гораздо сам пишет; время от времени приходит в общую залу, и все как-то сейчас сосредотачивается на нем, и говорит он обо всем, и что слово — то золото. Когда он говорит об искусстве, юношеский жар в голосе и глаза светятся.

— Ведь вот Мопассан, ведь он совершенно противоположный моим взглядам, ведь он пишет такое, что, по существу, мне должно быть противно, а не могу не восхищаться, такой у него талант, такой он художник...

— Вот видите, как художественное действует на вас, — говорю я с торжеством.

— Что же делать! Это слабость... моя слабость...

...Как бы Михаила Николаевича интересовало все, что он говорил об литературе, об искусстве, об технике, как порицал современных писак, уничтожал так называемых поэтов, с каким жаром говорил о Пушкине, Лермонтове, приводил их стихи, говорил, почему это истинная поэзия <...>

— „Предо мной кремнистый путь блестит“ — ведь это весь Кавказ в одной строчке! — между прочим, сказал он. — Беда в том, что теперь они все привыкли все так по верхам, по верхам скользить, работать они не хотят, а это уж, какая тяжелая работа. Спросишь у человека: „Играете на скрипке?“ — Один ответит: „Нет“, а другой: „Не пробовал, но думаю, что если возьму скрипку, то сыграю“. Если такой господин возьмет и будет водить смычком по скрипке, то публика почувствует, какой он ужас производит, а если он так же пером по бумаге водит, публика не замечает...

Но лучше не приводить каких-то крох, когда я не могу передать всего. О философских материях говорили мало, это его утомляет. Вечером он с детьми играет для отдыха в вичт.

В четверг, в три часа, Саша уехал в Одессу, а я получила в руки „Хаджи-Мурата“ и с 4-х часов дня до 2-х ночи читала в совершенном упоении. Это одно из самых лучших произведений Льва Николаевича. Такое спокойное, стройное. Красота разлита по нем. И вот техника! *C'est ciselé!** И все его поправки: всегда лучше, всегда ближе к цели, к общему. Ни одного полуслова, которое можно бы изменить, чтобы вещь не потеряла. Какая наблюдательность, какая поэзия и сила картин и как все просто, как не шаржировано, никакой „красочности“ нет. Эти два дня, проведенные у этого гениального, чудного старика, оживляющие повливали на мой дух: когда я вернулась, мне хотелось и мои записки писать, и рисовать... Но физически я, конечно, простудилась и лежала все эти дни в постели. Но что такое инфлуэнца? Дешевая цена за радость повидаться со стариком и за наслаждение прочесть „Хаджи-Мурата“...» (ГИМ, ф. 344, ед. хр. 50, лл. 2—6).

Отрывки из неизданных воспоминаний Юнге о Толстом см. в нашей публикации «Незабываемое» («Огонек», 1960, № 47). Отметим, что редактором в текст воспоминаний внесен ряд неоправданных искажений.

* Это выгравировано!.. (франц.).